

У истоков литобъединения «Черемшан»

Журнал «Мономах» №2 (49), 3 (50) - 2007 г.

Как-то, в году 97-м, в редакцию «Мономаха» зашёл импозантный, интеллигентного вида мужчина. Протянул папку с рукописью, скромно представился: «Хмарский». Фамилия в литературных кругах известная, однако объём принесённого романа испугал – на том и расстались. И вот, по прошествии десяти лет, к нам случайно попали мемуары Ивана Хмарского о мелекесском периоде его жизни. Факты биографии писателя потрясли. Расспросить бы побольше – да нет человека в живых...

Двадцать два года своей жизни я проработал в Мелекесе. Сначала учителем мужской средней школы № 8, после директором средней школы № 3 в новом городе, затем деканом филологического факультета педагогического института и, наконец, его последним ректором. Все эти годы я продолжал заниматься журналистикой, к которой приобщился в годы войны (был корреспондентом фронтовых авиационных газет), и начал пробовать себя в литературном творчестве.

Мелекесские друзья-журналисты и молодые писатели доверили мне руководство литературной группой, которая впоследствии превратилась в литературное объединение «Черемшан».

Некоторые из моих знакомых иногда спрашивают: как случилось, что я, столичный житель и дипломат, заведовавший после войны американским отделом Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС), оказался осенью 1949 г. в небольшом провинциальном городке Мелекесе?

...Лето 1948 года. Здание ЦК ВКП(б) на Старой площади в Москве. Просторный кабинет председателя комиссии партийного контроля. За длинным столом какие-то люди. Среди штатских костюмов успеваю заметить военный китель полковника НКВД. Сам хозяин кабинета М.Ф. Шкирятов прохаживается по ковровой дорожке со стаканом чая в руке. Как видно, устал заседать. Вид болезненный, на худом лице проступает нездоровая желтизна...

Попал я в этот кабинет по своей неразумной воле, пытаюсь добиться справедливости в своём «персональном деле». Это уже четвёртая и последняя инстанция, к которой я обращаюсь. Обвинение грозное: злонамеренная отправка в США ценного советского медицинского препарата, причинившая ущерб интересам СССР! Масштабы-то какие! На самом деле никакого ущерба государству наш американский отдел не причинял, эта история раздута искусственно с целью нагнетания политической напряжённости. Суть же дела такова: по просьбе американского биолога Ваксмана, изобретателя пенициллина, наш отдел отправил ему образец препарата против дифтерии под названием «эритрин». В одном из наших медицинских журналов препарат был описан и не представлял ничего секретного...

– Докладывайте, что там у вас? – приглашает Шкирятов, прихлёбывая из стакана.
- Прошу дать мне возможность искупить свою вину на любом участке трудового фронта.

– Вот что, молодой человек, – сочувственно обращается хозяин кабинета ко мне, – поезжайте-ка вы куда-нибудь подальше от Москвы, поработайте в гуще народа, докажите делами свою преданность...

Через день или два зашёл в отдел кадров министерства просвещения на Чистых прудах, чтобы узнать, нельзя ли мне, исключённому из партии, получить работу учителя где-нибудь на периферии. Выпытав, за что меня исключили, кадровичка, уже увядшая женщина, украшенная жёлтыми, как ореховые стружки, кудряшками, задумчиво произнесла:

– Знаете, сейчас у нас вакансий словесников нет...

Потом была попытка восстановиться в аспирантуру ИФЛИ, но после нескольких унижительных визитов мои документы исчезли бесследно...

К счастью, все эти месяцы рядом со мной был мой фронтовой друг Саша Дмитриев, фотокорреспондент газеты «Красная звезда». Но вскоре он уволился и уехал к своим родным в Киев. И вот тогда я тоже решил пожить некоторое время у родителей своей покойной жены, воспитывающих мою пятилетнюю дочь. Проживали они в Тамбовской области. Примерно через неделю после моего приезда меня навестил молодой человек в штатском, который осведомился о том, как долго я собираюсь гостить, и предупредил о том, что обо всех своих дальнейших передвижениях я обязан извещать одно известное учреждение...

В августе 1949 года я снова в Москве. Знакомый учитель посоветовал мне обратиться в министерство совхозов РСФСР, где, по слухам, была нужда в преподавателях. Разыскал министерство, рассказал, кто я и о чём прошу. К моему удивлению, на этот раз мне не отказали с порога.

Немолодая женщина, порывшись в папке, спросила:

– Знаете такой город Мелекесс? В Ульяновской области?

– Первый раз слышу.

– Очень красивые места. Вокруг сосновые леса, речка, чистый воздух...

– Прекрасно! И что я там буду делать?

– Недалеко от этого города есть сельхозтехникум. Там нужен преподаватель русского языка.

Она тут же отпечатала мне направление и распорядилась выдать проездные и командировочные...

А ещё через несколько дней, в первых числах сентября 1949 года, я навсегда покидал с Казанского вокзала Москву. Не скрою, настроение было подавленное. Москву я любил. В ней я провёл самые счастливые в своей жизни студенческие годы. Здесь я оставлял многих своих друзей и хороших знакомых: Николая Третьякова и его сестру Марию, с которыми сдружился ещё в начале 30-х годов в Запорожье; Александра Караганова, с которым вместе прожил четыре года в студенческом общежитии на Усачёвке, а после трудился в ВОКСе; здесь же оставалась могила моей первой жены, так обидно рано ушедшей из жизни...

Но оставлял я не только близких. Москва для меня – это и Третьяковская галерея, и Музей изобразительных искусств на Волхонке, где часто проходили семинарские и практические занятия нашего искусствоведческого отделения и где я в свободные часы любил бродить по залам в одиночестве, подолгу останавливаясь перед любимыми холстами и статуями. Рисовал я с детства (до ИФЛИ окончил художественное училище), поэтому меня интересовало всё: какой колорит предпочитает художник, где у него расположена линия горизонта на пейзажах, как он кладёт мазки... А характеры героев живописных полотен! С чем сравнить мои переживания перед «Утром стрелецкой казни» и «Боярыней Морозовой» Сурикова, перед «Запорожцами» и «Протодьяконом» Репина, «Аленушкой» Васнецова, дивными портретами Серова!

Русских пейзажистов я копировал со школьных лет по открыткам, и вот, приехав в Москву, словно за гипнотизированный, изучал сантиметр за

сантиметром «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Берёзовую рощу» Куинджи, «У омута» Левитана.

Поразительно, как мы успевали в те годы посмотреть самое интересное в столице: премьеры спектаклей в Большом, Художественном, Малом театрах, побывать на концертах в Большом зале консерватории, в зале Чайковского и многих других. В памяти всплывали выступления Качалова, Москвина, Тарханова, Улановой, концерты Козловского, Лемешева, Нейгауза, Рихтера, Гилельса, Ойстраха.

Простившись по-братски с провожавшим меня Колей Третьяковым и оставив чемоданчик на полке, я вышел в тамбур и, прильнув к окну, почти физически ощутил, как по мере отдаления от Москвы сжимается вокруг меня жизненное пространство. Вместе с ним сжималось и моё сердце...

То ли от обид на несправедливости, обрушившиеся на мою голову; то ли от гнева на бездушных чиновников с партбилетами в карманах, готовых по приказу свыше растоптать каждого, кто почему-либо нужен был системе как жертва; то ли от дурных предчувствий, навеянных словами полковника НКВД о моём «преступлении»...

И только главного виновника своих бед я даже в мыслях обходил стороной, будучи твёрдо убеждённым в исторической целесообразности того, что совершалось по его воле в стране. «Чего стоят в этих масштабах неудачи, драмы и переживания какого-то изгнанного, пусть и несправедливо, дипломатического чиновника, попавшего в жернова государственной машины, – думал я. – И разве я первый, кто оказался жертвой великого поступательного движения!» Правда, кое-какие сомнения, вопросы и недоумения в отношении личности «отца народов» возникали у меня и в 30-е годы, и во время войны, и после неё, но великая победа над гитлеровской Германией как бы списывала все эти прегрешения... Так думал я тогда, и даже моё изгнание из Москвы не могло поколебать моей веры в идею справедливого социалистического общества. И если кто-то решил, что после всего пережитого я отрёкся от своих убеждений, уверяю: он заблуждается.

Но всё пережитое, а особенно та правда, которая раскрылась после смерти Сталина, побудили меня во многом по-новому взглянуть на 70-летнюю историю своей Родины, отделив истинных коммунистов от карьеристов, чинодралов и преступников.

И вот Мелекес... Почти такой же, каким рисовался мне все эти дни в воображении: уютно спрятанный в речной долине, среди сосновых лесов, деревянный, малолюдный, спокойный. Сам я вырос в небольшом городе и, может быть, поэтому люблю провинцию. А здесь после многолюдной и суетной Москвы с особой отрадой присматриваюсь к узорчатым наличникам окон, берёзкам около домов, к палисадникам, где уже зацвели астры и георгины. В центре города тихий пруд, вокруг которого посажены вётлы, их зелёные пряди отражаются в воде. Красиво... Бери альбом, краски и рисуй. Погожее утро, и нарядные девочки-школьницы в белых фартучках и мальчики в костюмчиках весело стучат каблучками по деревянным тротуарам.

Оставив чемодан в гостинице, отправляюсь на поиски транспорта в Рязановский совхоз, где и находится сельхозтехникум. Один из прохожих посоветовал пройти на постоянный двор где-то на окраине города, откуда можно будет на попутной машине или на подводе добраться до совхоза. Прежде чем направиться туда, решил осмотреть центр города. На площади рядом со сквером обратил внимание на двухэтажное кирпичное здание ещё дооктябрьской кладки,

на котором рядом с входной дверью виднелась вывеска: «Мелекесский городской отдел народного образования». А что если попытаться счастья здесь? Городок мне понравился, зачем уезжать из него на поиски какого-то совхоза и техникума? С сознанием лёгкой вины за то, что обманываю министерство совхозов, поднимаюсь по старой лестнице на второй этаж и останавливаюсь перед кабинетом завгороно. Табличка извещает, что здесь обитает Тамбовцева Дарья Прокофьевна. Заходить или нет? А что если снова встречу сверхбдительную мегеру? Но простецкое имя и отчество подкупают. Э, была не была...

Открываю дверь. В просторном кабинете за столом сидит женщина средних лет с коротко стриженными не то русыми, не то выцветшими волосами. В курносом лице и твёрдом взгляде просматриваются мужские, волевые черты. Простенький костюмчик, аккуратная белая кофточка, и никакого намёка на женственность. В правой руке дымящаяся папироса. Должен признаться, что я с трудом выношу курящих женщин, и первое впечатление от заведующей гороно не в её пользу. Но отступить поздно.

– Разрешите?

– Заходите.

Голос хрипловатый, не то простуженный, не то прокуренный. Позже я узнал, что в годы войны Дарья Прокофьевна работала секретарём сельского райкома партии и моталась по полям в любую погоду, так что простужалась не раз. Достāju министерское направление на работу в техникум.

Объясняю:

– Вот по этому направлению я приехал в Мелекесский район, но мне хочется остаться в самом городе и поработать учителем в школе. У вас есть вакансии?

Дарья Прокофьевна взяла направление, удивилась:

– Из Москвы да в Мелекесс? Что случилось?

Пришлось рассказывать. Внимательно слушает, пытливо разглядывая меня, словно желая узнать, не скрываю ли я ещё чего-нибудь. Наконец, спрашивает:

– А кроме литературы, что вы можете преподавать еще? Как с иностранным языком?

– Могу, – храбро подтверждаю я, – немецкий и английский.

Никогда в жизни я не преподавал ни того, ни другого, но объясняться мог на обоих.

– Тогда могу направить вас учителем немецкого языка в среднюю мужскую школу. Согласны?

– Согласен.

О ходе её рассуждений я примерно догадываюсь: литература – дисциплина идеологическая, и доверять её этому исключенному из партии пришельцу рискованно. А немецкий – предмет, так сказать, невинный, к тому же в школах города таких специалистов не хватает.

– А как быть с министерским направлением? – спрашиваю я. – Не будет ли мне и вам неприятностей?

– Это я берусь уладить, – твердо обещает она. – Оформляйтесь.

И тут же звонит директору восьмой мужской школы:

– Михаил Сергеевич! Вы, кажется, жаловались, что у вас не хватает учителя немецкого языка. Так вот я направляю вам одного товарища, между прочим, москвича...

Тут же я написал заявление, заполнил анкету, и примерно через час на свет появился приказ о моём назначении. Наконец-то! Окрылённый отправляюсь на поиски восьмой средней школы и нахожу её почти на окраине города, неподалёку

от железной дороги. Попадаю как раз на перерыв.

Во дворе рослые парни разминаются с волейбольным мячом, некоторые открыто покуривают. Директор Михаил Сергеевич Кононенко уже ждёт меня в своём кабинете. Ему где-то под пятьдесят. Невысок, коренаст, на лице доброжелательная улыбка; никакого намёка на подозрительность, хотя Дарья Прокофьевна уже, конечно, познакомила его с моей биографией.

Позже я узнал, что на фронте он был тяжело ранен и трудился в школе, преодолевая свою болезнь.

Рядом с ним завуч, Игорь Вениаминович Номофилов, рослый, цветущего вида мужчина в аккуратном костюме; он присматривался ко мне с каким-то хитроватым видом. И действительно, едва мы перекинулись с директором несколькими фразами о том, в каких классах мне предстоит учительствовать, как он обратился ко мне на довольно уверенном немецком языке: какое учебное заведение окончил, когда, на каком фронте воевал и т.д.

Оказывается, он был в школе главным специалистом по этому предмету, что меня и смутило и обрадовало одновременно; в случае каких-либо затруднений можно будет у него проконсультироваться. Вспомнив свою венскую практику, я без запинки ответил на его вопросы, но сам подумал: только бы не заговорил о плюсквамперфектах, в которых я тогда не был силён... Однако обошлось, и мой немецкий был одобрен. Тут же завуч снабдил меня нужными учебниками.

Через день я с волнением готовился к своей первой встрече с учителями школы: тщательно выбрил, облачился в выходной черный костюм, в котором появлялся на приёмах в ВОКСе, повязал свой самый красивый галстук. Михаил Сергеевич, который собрался познакомить со мной свой коллектив, увидев меня при всём параде, одобрительно кивнул. Но едва мы оказались в заполненной людьми большой комнате с неизбежным фикусом в углу, как я понял, что промахнулся: среди буднично и скромно одетых учителей мой парадный вид выглядел не только неуместно, но даже смешно.

Этакая столичная штучка, что-то вроде Александра Ивановича Хлестакова в уездном городишке. Однако Михаил Сергеевич уверенно провозгласил:

– Рекомендую вам нашего нового учителя немецкого языка Ивана Дмитриевича Хмарского. Он приехал из Москвы, знакомых у него в Мелекесе нет, так что, надеюсь, наш коллектив станет для него новой семьей.

– Здравствуйте! – сказал я и уселся на свободный стул, стараясь быть незаметнее. Учителя тоже не проявляли ко мне заметного внимания, давая мне возможность освоиться с новой обстановкой. Среди молодых учительниц мне особенно понравилась довольно высокая, худая и смуглая девушка с удивительно красивыми карими глазами и словно точёными чертами лица, которая стояла поодаль у самой стены. Думал ли я тогда о том, что пройдёт какое-то время, и мы с ней будем отмечать золотой юбилей нашей свадьбы...

Сейчас, в пору открытости и гласности, молодому современнику вся эта история с моим устройством на работу может показаться малозначительной и забавной, но в те годы решимость Дарьи Прокофьевны Тамбовцевой взять в учителя человека, исключённого из партии за связь с какими-то американцами, требовала и смелости, и твёрдости характера. Она обладала этими качествами.

< ... > Через несколько дней после моего устройства на работу однажды утром ко мне в гостиницу пришли три молодых человека, интересовавшихся литературой: студент педагогического училища Евгений Ларин, студент учительского института Евгений Лыжин и Юрий Астрадымов. А порекомендовал им встретиться со мной директор восьмой школы М.С. Кононенко, который узнал из моей анкеты о том,

что в годы войны я был корреспондентом фронтовых газет, а значит, человеком пишущим. Вот он и решил свести со мной трёх начинающих литераторов.

Не помню уже точно, о чём мы беседовали; скорее всего, о литературе и о моём участии в войне в качестве журналиста, но ребята произвели на меня самое отрадное впечатление. Внешне Женя Ларин в ту пору мог вполне сойти за пушкинского Владимира Ленского: тонкие черты худощавого и бледного лица, копна смоляных волос, а главное, вдохновенный взгляд красивых чёрных глаз, порывистые движения и восторженность в голосе. Забегая вперед, должен сказать, что жизнь Евгения Лыжина и Юрия Астрадымова рано оборвалась: Женя уехал учительствовать на север, где во время лыжного похода попал в пургу и замёрз в степи, а Юрий умер от туберкулёза.

В городе издавалась объединенная с районом газета «Сталинское знамя», редактором которой был Иван Сергеевич Кирюшкин, человек порядочный и смелый. Первые свои статьи и рассказы в Мелекессе я начал публиковать в «Сталинском знамени».

При газете подобралась группа начинающих поэтов и прозаиков, никак не оформленная организационно. Просто собирались по определённым дням, читали свои стихи, юморески, рассказы, обменивались мнениями. Помню Е. Ларина, который до 1951 года был студентом училища, а затем выехал на работу в одну из школ Радищевского района и снова вернулся в Мелекесс в 1953 году уже в качестве литсотрудника «Сталинского знамени». В эту группу входили поэты Яков Рогачёв, Геннадий Зимняков, Пётр Безяев, Ирина Беликова, пенсионер Яков Мулярчик и другие. Часто в Мелекесс приезжал из совхоза им. Крупской бухгалтер Анатолий Жуков, читавший свои юмористические рассказы. Для литературного роста молодых писателей необходимы по меньшей мере два условия: возможность общаться с мастерами и публиковаться в журналах и издательствах. В то время таких условий почти не было. Правда, в областном центре ежегодно выходил альманах «Литературный Ульяновск», но пробиться в него было нелегко.



Например, в декабре 1950 года был подписан к печати четвёртый номер этого альманаха, редактором которого была журналистка Циля Марковна Рабинович. В основном здесь были представлены ульяновские авторы – поэты Н. Благов, Н. Краснов, А. Макаров, Н. Рябинин, Р. Герасимов; прозаики И. Мальцев (повесть «Семь ветров»), Г. Коновалов, Г. Велле, литературовед П.С. Бейсов, критики Н. Григорьев и Д. Белогоров. Из мелекесцев в альманахах попали только двое: Е. Ларин (стихотворение «На борьбу за мир») и я (рассказы «Шенбрунн» и «Калорийная пища»).

Но развитие местной литературы тормозилось не только ограниченными возможностями для публикаций. Сказывалось сильнейшее давление на молодых поэтов и прозаиков официальной идеологии, культа Сталина.

Вскоре меня попросили стать руководителем мелекесских литераторов. Соглашаясь на эту роль, я испытывал сомнения, правильно ли поступаю и не наживу ли при этом для себя новой беды. Время было тревожное. Мало того, что сразу же после войны вышло постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», осуждавшее поэтессу Анну Ахматову за отход от гражданской тематики в сферу сугубо личных переживаний и клеймившее популярного писателя Михаила Зощенко за мелкотемье и «пошлость» его рассказов, в стране, как я уже говорил, развернулась кампания по разоблачению скрытых «агентов»-космополитов, поощрялись политическая подозрительность, доноительство и шпиономания. В этих условиях самые невинные стихи или рассказы, самые безобидные выступления во время обсуждения литературной продукции начинающих литераторов при желании можно было истолковать как политически сомнительные, а сам факт встреч молодых людей в редакции по вечерам – как «групповщину» и даже сборище «заговорщиков». Беспечные молодые люди вроде Е. Ларина и Е. Лыжина, видимо, этого не чувствовали, но я, старший по возрасту и уже наученный горьким опытом политического преследования, сознавал, чем всё это может обернуться. А ведь мы были в то время ещё молоды, собираясь, рассказывали анекдоты, шутили, веселились. В коридоре редакции стоял бильярдный стол, и после литературных дискуссий мы сражались с киями в руках «на вылет».

Стараясь поддерживать эту непринуждённую и жизнерадостную атмосферу, я в то же время зорко следил за тем, чтобы и в самих стихотворениях или рассказах, и в ходе их обсуждения не было и намёка на «очернительство» нашей послевоенной действительности, на политическую неблагонадёжность и другую крамолу. Но вскоре попался сам... После выхода четвёртого номера альманаха «Литературный Ульяновск» в «Ульяновской правде» появилась рецензия на его материалы, где мне досталось на орехи за рассказ «Калорийная пища», навеянный стилем М. Зощенко.

И всё же литературная жизнь в области не замирала. Во всех газетах печатались стихи, басни, рассказы, фельетоны, книжное издательство выпускало сборники местных поэтов и прозаиков, устраивались литературные вечера, встречи с читателями, семинары. В Мелекесе Е. Ларин публиковал свои стихотворения и сказки, А. Жуков – юморески, Я. Рогачёв, Г. Зимняков и другие – стихи. Газета «Знамя коммунизма» напечатала в нескольких номерах мою первую повесть «Тайна матери».

В один из осенних дней 1951 года меня вызвали из учительской в коридор, где я увидел около окна небольшого роста пожилого, лысого человека,

опиравшегося на палку. Поздоровавшись, он сказал:

– Я писатель Лебеденко.

– Очень приятно, – пожал я ему руку, а сам попробовал вспомнить, где я слышал эту фамилию и какие книги написал Лебеденко. Он уловил моё замешательство и добавил: – Может быть, вам когда-нибудь попадался мой роман о первой мировой войне – «Тяжёлый дивизион»? Если нет, ничего удивительного: роман давно не переиздавался. Мне порекомендовали познакомиться с вами в редакции городской газеты. Я теперь буду жить в Мелекессе.

– А откуда вы приехали? – поинтересовался я.

– Недалеко отсюда... Из Киндяковки. Отсидел там срок в колонии и вот теперь освобождён. А вообще-то я петербуржец, но жить дома пока не имею права.

«Час от часу не легче, – подумал я. – Не хватало в нашей литературной группе только бывшего политзаключённого». Впрочем, один уже был, а именно известный польский журналист Раковский, тоже отсидевший свой срок и хлопотавший теперь о возвращении на родину. К редакции городской газеты он прибился ещё до моего приезда в Мелекесс. После двух-трёх посещений нашей группы он больше не появлялся, уехав из города, а затем из СССР вообще.

Разумеется, я ничем не выдал своей обеспокоенности посещением Александра Гервасьевича Лебеденко (у него редкое отчество), а попросил дать мне для прочтения его роман «Тяжёлый дивизион». Он охотно удовлетворил мою просьбу. Читая роман, я всё больше убеждался в том, что передо мной произведение крупного русского прозаика. Бывший офицер царской армии и участник первой мировой войны, А. Лебеденко показал её не в эпическом плане, как, скажем, М. Шолохов, а камерно, изнутри, на примере одного подразделения, с подробностями и офицерского и солдатского окопного быта, с драмами и трагедиями русской интеллигенции, брошенной в эту мясорубку. Я возвратил ему роман с благодарностью, поделился своими впечатлениями, и с этого времени мы с ним довольно часто и откровенно беседовали.

До своего ареста А. Лебеденко занимал видное место среди советских писателей, был дружен с Константином Фединым и другими известными мэтрами литературы 20-30-х годов, много путешествовал, однажды попал в авиационную аварию и с тех пор прихрамывал. Арестован был по доносу из-за самого невинного замечания о перегибах в ходе коллективизации.

В Мелекессе Александр Гервасьевич снял небольшую комнату в деревянном доме и начал писать статьи в местные газеты. Подписывал их не своей фамилией, а псевдонимами. Гонорары были небольшими, и, по моим наблюдениям, жил Александр Гервасьевич стеснённо, хотя время от времени получал небольшие переводы от жены из Ленинграда и, насколько мне известно, из Москвы от К. Федина. На мой намёк, не нужна ли ему моя денежная помощь, Александр Гервасьевич ответил, что у него очень скромные запросы и того, что он получает, ему достаточно. Вообще, в его характере, поведении, манере говорить можно было легко заметить отпечаток той особой петербургской интеллигентности и деликатности, которая формировалась десятилетиями в нашей северной столице. Зная о том, что и он сам, и я находились под наблюдением местных органов безопасности, он старался встречаться со мной наедине не часто. И всё же два или три раза пригласил меня к себе.

В одну из таких встреч он показал мне отпечатанную на машинке объёмистую рукопись и сказал о том, что заканчивает роман о судьбах петербургской интеллигенции накануне и во время Октябрьской революции. Название романа – «Лицом к лицу».

Спросил, нет ли у меня желания познакомиться с рукописью. Я охотно согласился и, придя домой, углубился в чтение. Меня сразу же покорило его профессиональное мастерство, но развитие действия показалось замедленным, а внимание к деталям быта и заботам героев избыточным. Возвращая рукопись, я откровенно высказал ему своё мнение на этот счет...

С приездом А. Лебедеико руководство литературной группой перешло к нему. Во время обсуждения наших литературных опытов он был неизменно доброжелательным и тактичным, умея найти в каждом стихотворении или рассказе что-то положительное, крупницу жизненной правды и приметы дарования, достойные одобрения, а свою критику слабостей и недостатков облакал в необидную форму. Как-то мы с ним разговорились о том, где пролегает грань между литературным дарованием и графоманством, тщеславным стремлением непременно увидеть своё детище напечатанным.

Вот что он сказал по этому поводу:

– Я считаю одним из великих достижений нашей революции то, что к художественному творчеству потянулись тысячи людей. Большинству из них не хватает образования и той общей культуры, какая приобретается с детства в подлинно интеллигентных семьях. Это чувствуется даже при наличии таланта в их общем кругозоре, в языке, упрощенчестве, в стремлении к заимствованиям у любимых поэтов или прозаиков. Конечно, среди них немало и таких, кто лишён искры божьей. С годами большинство из них это признаёт и выбирает себе другую профессию, но увлечение молодости оставляет хороший след в их духовном развитии. Сама потребность раскрыть перед другими свои переживания, мысли, идеалы, свой душевный мир достойна уважения, и я не могу понять высокомерия тех писателей, редакторов и издателей, которые презрительно третируют таких начинающих авторов как графоманов вместо того, чтобы терпеливо и уважительно объяснить им их просчёты и недостатки. Вы, наверное, заметили, что ни один крупный писатель о графоманах не говорит. Это делают охотно как раз литераторы средней руки, а иногда попросту бездарные сочинители.

А вообще-то было бы неверно представлять себе литературный процесс в виде чередования известных горных вершин и разлива могучих рек. Если бы не было в нём холмов, пригорков и маленьких речушек, затерянных в глубинке, вряд ли появились бы и такие гиганты, как Тургенев, Толстой, Достоевский, Горький. Наступил 1953 год. Однажды мартовским утром, выйдя из дома на улицу, я узнал о том, что умер Сталин. В педагогическом институте, где я по совместительству с работой школьного учителя читал лекции по литературе, созвали траурный митинг... Через день или два встретил Александра Гервасьевича. Он заметно уклонялся от комментариев по поводу смерти великого кормчего, но, как я успел заметить, словно повеселел. И действительно, прошло ещё какое-то время, и ему разрешили вернуться к семье в Ленинград. Говорят, об этом хлопотал всё тот же его верный друг Константин Федин. Настало время прощания А. Лебедеико с Мелекесом.

Мы обнялись, и он дал мне свой адрес, пригласив побывать у него в гостях. Такая возможность у меня появилась года через три. К тому времени уже вышел из печати его роман «Лицом к лицу». Найдя по адресу старый и внушительный дом в центре Ленинграда, я позвонил. Дверь открыла пожилая миловидная женщина в странных очках: одна из линз сильно увеличивала ее глаз. Это была жена Александра Гервасьевича... Квартира, в которую я вошёл, была просторной, с высокими потолками, тяжёлыми дверьми, полутёмной прихожей. Из кабинета

вышел в пижаме и комнатных туфлях Александр Гервасьевич. С грустью я заметил, что за прошедшие годы он заметно сдал. Мы прошли в гостиную, жена принесла чай, последовали расспросы о Мелекессе, о нашем литературном объединении «Черемшан», общих знакомых, о моём положении в послесталинские годы, Александр Гервасьевич спросил, не думаю ли я вернуться в Москву... На прощанье он подарил мне с тёплой надписью роман «Лицом к лицу». Просил писать ему. Однако скоро А. Лебедеенко не стало...

После его отъезда руководителем объединения «Черемшан» снова избрали меня. Но вскоре я стал деканом филологического факультета, а затем и ректором Мелекесского педагогического института. Времени для литературных занятий оставалось мало.

В 1972 году институт был закрыт, а оставшиеся студенты и часть преподавателей переведены в Ульяновск.

Вспоминая сейчас это двадцатилетие своей мелекесской биографии, я с удовлетворением могу сказать, что наши литературные встречи и занятия принесли свои плоды; известным в стране писателем стал Анатолий Жуков, выпустил несколько книг и был принят в Союз советских писателей Евгений Ларин, в газетах и сборниках печатались стихотворения Геннадия Зимнякова, Якова Рогачёва и других авторов. Сам я издал сборники рассказов; в «Ульяновской правде» были опубликованы мои повести: «Перемещённые», «Мираж», «Ягода-малина» и около сорока рассказов; в журнале «Волга» – документальная повесть «Месяц с Джоном Стейнбеком».

Активная деятельность мелекесских и областных литераторов в целом в послевоенные годы во многом обязана двум ульяновским писателям тех лет: Григорию Коновалову и Василию Дедюхину. С первым из них я был знаком ещё до Ульяновска по Московскому институту истории, философии и литературы (известному ИФЛИ). Если не ошибаюсь, весной 1938 года нашей группе искусствоведов сообщили, что отныне мы обязаны посещать кружок политзанятий... Руководителем кружка был назначен аспирант ИФЛИ Григорий Коновалов.

В то время я был студентом четвёртого курса и знал, что Г. Коновалов уже опубликовал несколько рассказов... Знал я также и о том, что он дружил в ИФЛИ со студентом философского факультета Теодором Ойзерманом, впоследствии философом-академиком, а в то время небольшим чернявым и юрким пареньком. Оба они ухаживали за двумя красивыми студентками философского факультета, выделявшимися внешне даже среди других пригожих ифлиек, славившихся в этом смысле в Москве. Невесту Григория звали Бетей...

И вот тридцатилетний Григорий Коновалов, невысокий, коренастый, высоколобый парень с полным в то время лицом и внимательным взглядом, приступил к своей первой беседе. Очень скоро разговор от политической тематики перекинулся на литературу...

Вскоре после войны, в 1947 году, вышел первый его роман «Университет». Известный в те годы литературный критик Е.Ф. Усиевич откликнулась на это произведение насмешливой, если не сказать издевательской рецензией. За молодого автора вступилась газета «Правда», и фамилия «Коновалов» стала известной в читательских кругах...

Во время войны я потерял след Григория Ивановича, и вот, приехав в Мелекесс, узнал, что он преподаёт в Ульяновском пединституте историю советской литературы. В одно из моих посещений областного центра мы встретились как старые знакомые, и он пригласил меня к себе. В то время семья

Григория Ивановича проживала в комнате студенческого общежития на Венце. Вид на Волгу был великолепный, но теснота и неустроенность... В этой комнате я увидел вместо хрупкой студентки Бети уже довольно осанистую молодую женщину, всё такую же красивую, но уже утратившую свое бывшее девическое очарование. У Коноваловых было двое детей: дочь и сын.

Григорий Иванович рассказал мне о том что в годы войны он был политработником-офицером на Тихо-океанском флоте и показал свою фотографию, где был заснят в морской форме и выглядел прямо-таки бравым молодцом. Сообщил о том, что в общежитии проживает временно, так как в строящемся на улице Гончарова доме ему обещана трёхкомнатная квартира... Григорий Иванович рассказал о том, что в Ульяновске существует литературное объединение и назвал несколько имен, заслуживающих внимания, в их числе В. Дедюхина и студента Н. Благова, талантливого молодого поэта. Я в свою очередь познакомил его с литературной жизнью мелекесцев.

Через какое-то время он пригласил меня на конференцию ульяновских писателей, где я увидел трёх поэтов Николаев: Краснова, Рябинина, Благова. Имена других уже забылись. Дедюхина почему-то не было. В президиуме, кроме Коновалова, сидели председатель облисполкома Владимир Петрович Васильев, инструктор обкома партии, занимавшийся литературными делами, Б.Ф. Иванов и какие-то другие товарищи. Из преподавателей Ульяновского пединститута запомнились доцент П.С. Бейсов и А.М. Абрамов.

Григорий Иванович был по-праздничному оживлён, часто вынимал из бокового кармана пиджака небольшой блокнотик, в который записывал просьбы и предложения... Выступления были страстными, свободными, критическими, и у меня сложилось впечатление, что этот демократизм во многом навеян личностью самого руководителя писательской организации Г. Коновалова...

С этого события связь мелекесцев с Ульяновском укрепилась. Время от времени к нам приезжал Григорий Иванович в сопровождении двух-трёх писателей, которые проводили семинары, выступали перед читателями в рабочих клубах и в школах. По традиции после таких встреч устраивались застолья... Однажды мы засиделись допоздна, я пригласил Григория Ивановича на ночлег к себе и познакомил его со своей семьёй. В ответ он и Бетя пригласили Марию Фёдоровну и меня в свою новую квартиру на улице Гончарова. И тут Григорий Иванович показал мне рукопись своего заветного романа «Истоки», над которым ещё продолжал работать...

В новой квартире Г. Коновалов прожил недолго. Вскоре до меня дошел слух о том, что он переехал в Саратов, где издавался поволжский литературно-художественный журнал «Волга» и где начали печатать его «Истоки». Роман сразу же покорила меня эпической широтой охвата предвоенной жизни и характерами героев из рабочей среды, а в описании военных событий – стремлением художественно осмыслить историческую роль Сталина и его ближайшего окружения в руководстве страной в эти трагические и героические годы...

Более поздние произведения Г. Коновалова оставили у меня двойственное впечатление. С одной стороны, они нравились мне знанием народной жизни, некоторыми колоритными характерами, с другой, их прочтение тормозилось избыточной образностью языка, пережитками той самой «орнаментальной прозы», которая была популярной в нашей литературе 20-х годов. Для меня это было неожиданностью. И в беседах наедине, и в групповых Григорий Иванович часто приводил примеры из творчества Л. Толстого, в

которого он был прямо-таки влюблён. Но как раз Л. Толстой меньше всего заботился о лингвистическом украшателстве своих текстов, а в поздних повестях и рассказах стремился к предельной простоте стиля. Видимо, тяготение Г. Коновалова к словотворчеству было своего рода реакцией на обезличенность языка во многих произведениях его современников.

После переезда Г. Коновалова в Саратов руководство ульяновским отделением Союза писателей перешло к Василию Аполлоновичу Дедюхину. В моей памяти он остался как человек редкого мужества. На фронте он был тяжело ранен в голову, хирурги его отходили, но лицо Василия Аполлоновича осталось навсегда изуродованным. Вероятно, многие другие в его положении почувствовали бы свою ущербность, впали в мрачное состояние, спились и утратили работоспособность. Ничего похожего с ним не случилось. Не знаю, как он себя чувствовал наедине, но на людях был неизменно бодрым, энергичным и деятельным, тонко чувствовал юмор, часто хохотал и, вообще, выглядел оптимистом. Когда я с ним познакомился, он был уже во втором браке, имея взрослого сына. Второй его женой была доцент ульяновского пединститута, физик Циля Марковна Рабинович. Она же была активной журналисткой, часто выступавшей в «Ульяновской правде»...

Кроме рассказов, он написал пьесу «Нет прекрасней назначенья», посвящённую педагогической деятельности И.Н. Ульянова. Она долгое время с успехом шла в Ульяновском драмтеатре. Не без влияния Василия Аполлоновича я к столетию со дня рождения Ленина тоже написал драму, которую назвал «Да будет свет!» Пьеса была посвящена просветительской деятельности Н.К. Крупской...

Ещё до этого в 1969 году другая моя пьеса – «Кактус» – была поставлена, правда, не в театре, а на телевидении, но при участии почти всей труппы драмтеатра.

Сцена из спектакля «Кактус»



В пьесе рассказывалось о драматической судьбе американского писателя, преследуемого за свои прогрессивные взгляды. Беседуя со мной о «Кактусе», Василий Аполлонович положительно отозвался о сюжете и фигуре главного героя, но посоветовал не увлекаться иностранной тематикой...



Как и Г. Коновалов, Василий Аполлонович довольно часто бывал в Мелекесе, проявляя заботу о местных литераторах. После моего переезда в Ульяновск мы нередко встречались с ним на площади Ленина, где он

прогуливался рядом с домом, в котором жил. Беседовали о местных литераторах. Некоторые его оценки были суровыми... Вскоре я стал замечать, как он постепенно увядает, теряя интерес к литературным делам и свой оптимизм. Единственное, что его заметно радовало, были литературные успехи его сына, публиковавшего свои произведения в «Волге». А ещё через некоторое время Василия Аполлоновича не стало. Ненадолго пережила его и Цилия Марковна, продолжавшая выступать как журналистка до последних дней своей жизни...

Если с Г. Коноваловым и В. Дедюхиным мы были почти ровесниками, то Николай Благов по возрасту годился мне в сыновья, и, видимо, поэтому эта разница мешала нашему личному сближению. Да и вообще, по моим наблюдениям, он был человеком довольно замкнутым, погружённым в себя и немногословным. Встречались мы лишь по делам.

Одним из таких поводов была моя просьба к отделению Союза писателей дать отзыв о рукописи моего большого романа «Сполохи», который я писал урывками, не оставляя преподавательской работы, больше пяти лет.

Роман был задуман как первая книга многоплановой эпической трилогии о подготовке второй мировой войны и начале Великой Отечественной...

Н. Благов, ставший к тому времени руководителем областной писательской организации, передал рукопись члену Союза писателей Д.К. Дудкину, опытному в литературных делах и принципиальному человеку. Через некоторое время я получил от него обстоятельную рецензию самого лестного содержания.

Обрадовавшись такой оценке, я с некоторой тревогой стал ждать, что скажет сам Николай Благов... Однако мои опасения оказались напрасными. Прочитав «Сполохи», Н. Благов тоже одобрил роман, хотя и высказал некоторые замечания об излишней неторопливости повествования и затянутости в нём действия. Продумав их, я перепланировал расположение некоторых глав и постарался убрать длинноты. На это ушло больше года.

К тому времени Н. Благов, как и Г. Коновалов, переехал в Саратов, где начал сотрудничать в журнале «Волга». Я отвёз рукопись в журнал. Н. Благов сказал мне о том, что он лично рекомендовал рукопись напечатать. Но члены редколлегии колебались. Прежде всего, их смущал всё тот же 1937 год... В конце концов редакция сочла тему романа неактуальной.

Через короткое время Н. Благов вернулся из Саратова в Ульяновск и при нашей встрече посоветовал мне обратиться в издательство «Советский писатель», где одним из редакторов был Анатолий Жуков, тот самый бухгалтер из совхоза Крупской, который начинал свой литературный путь в «Черемшане». Н. Благов и Е. Ларин были дружны с А. Жуковым, переписывались с ним и дали мне адрес Анатолия, жившего в то время в Люберцах, под Москвой. Отослав письмо с вопросом, стоит ли мне обращаться в это издательство и как это лучше сделать, я вскоре получил дружеский ответ. Жуков, правда, сообщал, что уже не работает в «Советском писателе», так как перешёл в редакцию «Нового мира», но посоветовал привезти рукопись в издательство.

Однажды жарким июльским днём я сел за руль своей «пятёрки» и отправился вместе с сыном в столицу. На другой день уже был на улице Воровского в особняке «Советского писателя», оставил там свой «кирпич» и отправился на Пушкинскую площадь в тесное помещение «Нового мира».

Анатолий Жуков, бывший, кроме всего прочего, секретарём Московской партийной организации писателей, встретил меня радушно и пообещал посодействовать тому, чтобы рукопись моя в издательстве не залежалась...

Подробно рассказываю о своих «хождениях по мукам» с рукописью, чтобы

подчеркнуть внимательность и доброжелательность Николая Благова и Анатолия Жукова к моему литературному труду. И эта доброжелательность Николая проявлялась не только ко мне. На семинарах, где обсуждались стихотворения и рассказы местных литераторов, он подмечал малейшие проблески таланта и почти с восторгом отмечал их в своих выступлениях.

Что касается его собственной поэзии, то, как это ни странно, мы о ней с ним никогда не беседовали. И не потому, что я относился к его творчеству критически. Напротив, мне его стихи не просто нравились, я в них открыл для себя нечто новое, о чём трудно говорить. Вначале я было отнёс их к традиционной деревенской поэзии, но потом почувствовал за отчётливыми приметам волжского колорита, знанием народных характеров и деревенского быта некую самобытную философскую глубину восприятия народной жизни, трудно поддающуюся литературоведческому анализу...

Очень мне нравилась сама внешность Николая. От него веяло чем-то богатырским: высокий рост, могучее сложение, копна светлых волос, не поддающихся расчёске, добродушное выражение крупных черт истинно русского лица, твёрдая и неторопливая поступь.

И вдруг узнаю: у Николая инсульт... Долгое время он не выходил из дома. После спектакля «Кактус» по пьесе И.Д. Хмарского на ульяновской студии телевидения. 1969 г.

Затем однажды я его встретил недалеко от двухэтажного особняка на улице К. Либкнехта, где он жил. Медленно переставляя ноги, он с трудом продвигался по тротуару, погружённый в какие-то свои думы. Мы остановились, обменялись рукопожатием. Тяжело было видеть его погасший взор и мрачное выражение лица. Бестактно было спрашивать о его самочувствии...

А ещё через какое-то время небольшая группа ульяновских писателей во главе с Е. Мельниковым и родственники провожала Николая Благова в последний путь. Помню, был погожий летний день, и никак не хотелось верить в то, что этот большой русский поэт так рано ушёл из жизни.

Недавно в клубе учителей-ветеранов выступала с воспоминаниями о Николае вдова поэта Ляля Ибрагимовна. С собой она привела внука Максима, крупного двенадцатилетнего подростка, рассказавшего о том, как он и его товарищи пополняют музей его дедушки. Слушал я его, и что-то отрадное откликнулось в душе. Значит, жива благодарная память об этом замечательном поэте, несмотря на тяжёлые испытания, какие переживает сейчас наша Россия.

Иван Хмарский